**Осип Эмильевич Мандельштам. Четвёртая проза**

Одни люди пытаются спасти других от расстрела. Но действуют они при этом по-разному. Мудрая расчетливость одесского ньютона-математика, с которой подошел к делу Веньямин Федорович, отличается от бестолковой хлопотливости Исая Бенедиктовича. Исай Бенедиктович ведет себя так, словно расстрел — заразная и прилипчивая болезнь, и поэтому его тоже могут расстрелять. Он все время помнит, что в Петербурге у него осталась жена. Хлопоча, обращаясь к влиятельным людям, Исай Бенедиктович словно делает себе прививку от расстрела.

Животный страх управляет людьми, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников. Люди требуют убийства за обвес на рынке, случайную подпись, припрятанную рожь. фонтаном брызжет черная лошадиная кровь эпохи.

Автор жил некоторое время в здании Цекубу (Центральной комиссии улучшения быта ученых). Тамошняя прислуга ненавидела его за то, что он не профессор. Приезжающие в Цекубу люди принимали его за своего и советовались, в какую республику лучше сбежать из Харькова и Воронежа. Когда автор наконец покинул здание Цекубу, его шуба лежала поперек пролетки, как у человека, покидающего больницу или тюрьму. В словесном ремесле автор ценит только «дикое мясо, сумасшедший нарост», а произведения мировой литературы делит на разрешенные и написанные без разрешения. «Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух». Писателям, пишущим разрешенные вещи, следовало бы запретить иметь детей. Ведь дети должны будут досказать главнейшее за своих отцов, отцы же запроданы рябому черту на три поколения вперед.

У автора нет ни рукописей, ни записных книжек, ни даже почерка: он единственный в России работает с голосу, а не пишет как «густопсовая сволочь». Он чувствует себя китайцем, которого никто не понимает. Умер его покровитель, нарком Мравьян-Муравьян, «наивный и любопытный, как священник из турецкой деревни». И никогда уже не ездить в Эривань, взяв с собой мужество в желтой соломенной корзине и стариковскую палку — еврейский посох.

В московские псиные ночи автор не устает твердить прекрасный русский стих: «…не расстреливал несчастных по темницам…» «Вот символ веры, вот подлинный канон настоящего писателя, смертельного врага литературы».

Глядя на разрешенного большевиками литературоведа Митьку Благого, молочного вегетарианца из Дома Герцена, который сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина, автор думает: «Чем была матушка филология и чем стала… Была вся кровь, вся непримиримость, а стала псякрев, стала всетерпимость…»

Список убийц русских поэтов пополняется. На лбу у этих людей видна каинова печать литературных убийц — как, например, у Горнфельда, назвавшего свою книгу «Муки слова»… С Горнфельдом автор познакомился в те времена, когда еще не было идеологии и некому было жаловаться, если тебя кто обидит. В двадцать девятом советском году Горнфельд пошел жаловаться на автора в «Вечернюю Красную Газету».

Автор приходит жаловаться в приемную Николая Ивановича, где на пороге власти сиделкой сидит испуганная и жалостливая белочка-секретарша, охраняя носителя власти как тяжелобольного. Он хочет судиться за свою честь. Но обращаться можно разве что к Александру Ивановичу Герцену… Писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и особенно в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым гордится автор. Его кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского племени, которому власть отводит места в желтых кварталах, как проституткам. «Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными».

Автор готов нести ответственность за издательство ЗИФ, которое не договорилось с переводчиками Горнфельдом и Карякиным. Но он не хочет носить солидную литературную шубу. Лучше в одном пиджачке бегать по бульварным кольцам зимней Москвы, лишь бы не видеть освещенные иудины окна писательского дома на Тверском бульваре и не слышать звона сребреников и счета печатных листов.

Для автора в бублике ценна дырка, а в труде — брюссельское кружево, потому что главное в брюссельском кружеве — воздух, на котором держится узор. Поэтому его поэтический труд всеми воспринимается как озорство. Но он на это согласен. Библией труда он считает рассказы Зощенко — единственного человека, который показал трудящегося и которого за это втоптали в грязь. Вот у кого брюссельское кружево живет!

Ночью по Ильинке ходят анекдоты: Ленин с Троцким, два еврея, немец-шарманщик, армяне из города Эривани…

«А в Армавире на городском гербе написано: собака лает, ветер носит».